



## 3. И. ЕЛГАШТИНА

### Коктебель и его легенды

К ночи под напором ветра стали вздрагивать стены дома, шторм усилился. Мария Степановна ушла спать, предложила и мне. Максимилиан Александрович не спал, он поддерживал огонь в печке. В открытую дверь в полумраке я видела его ходящим по комнате. Этой ночью я поняла, что все происходящее вокруг и было его настоящей жизнью: среди стихийных сил природы жила и властвовала его мысль. Все остальное было привходящим, оно могло быть, могло и не быть.

<...>

С Коктебелем, с его неповторимым пейзажем, меня знакомил Максимилиан Александрович. То был мир его акварелей: Коктебель — страна разлитого света, призрачных, тающих очертаний. И Волошин ревниво охранял этот мир. «Смотри, — говорил он, останавливаясь в некоторых местах, — не води сюда никого».

Этой весной приезд «друзей дома» запоздал. И мы каждый день отправлялись в горы или бродили по степи.

<...>

Гуляя, Максимилиан Александрович шел обычно молча и не отдыхая в пути — «вышел из дома и пришел». Иногда он только останавливался и стоял, словно прислушиваясь к тому, что происходило в нем самом, и соразмеряя это с окружающим. Мысль его работала с таким напряжением, что была ощутима и мною. Могучим взмахом вырывалась она на простор и, торжествующая, ликующая, неслась и рассыпалась среди неизмеримых пространств. Для меня мысль Волошина была нечто живое, осязаемое, зримое в полете.

Походка Максимилиана Александровича отличалась исключительной легкостью, бегом спускался он с гор. У него была маленькая стопа, маленькая и властная рука.

Первую попытку разговора со мной на философские темы Максимилиан Александрович не возобновлял. В первое же утро он спросил, что привлекло меня в Коктебель. Я рассказала о прочитанном: «Стране голубых гор» и Коктебельской бухте. Было совершенно ясно,

что я не ищу никаких «истин» и что сам Максимилиан Александрович не играл никакой роли в моем стремлении в Коктебель. Думаю, это было в первый и последний раз, что Волошин получил такой простой и искренний ответ. Философские темы мешали мне наслаждаться окружающим, я не хотела их слышать. А может быть, и сам Максимилиан Александрович отдыхал, не имея в моем лице серьезного собеседника.

Часто повторял Максимилиан Александрович одно французское изречение, состоящее из трех строк. Последняя врезалась мне в память: «L'amour, qui dure plus qu'un moment est un mensong»\*. Упоминал он в прогулках и имя первой жены. «Макс привез к себе принцессу», — говорили о ней болгары. Так звучала она и в его рассказах. На вопрос, почему они разошлись, Максимилиан Александрович ответил: «Маргарита всю жизнь мечтала иметь бога, который держал бы ее за руку и говорил, что следует делать, что не следует. Я им никогда не был. Она нашла его в лице Штейнера».

В один из вечеров мы стояли на скале, обращенной к морю. Небо полыхало отсветом заката. «Хочешь, я зажгу траву?» — спросил Максимилиан Александрович. Желания наши были общими. И вот возложил он руки на травы, что стелились у его ног, и отвел их. Огонь запылал, и дым стал восходить к небу. Волошин стоял, опершись на посох, и смотрел на свой Коктебель. Волосы и складки одеяния — он был в обычном коричневом шущуне — были разметаны осуществленной им силой. Закат догорал. Догорал и костер. Мы молча пришли домой...

Макс с его необычайной внешностью — массивной фигурой, копною седеющих кудрей — Зевс Олимпийский — открывал гостям богатство земли своей, творил ее лик чертами далекого прошлого — земли Киммерии. И все, кто жаждал солнца, света, вод морских, степей полынных, — все облакались в красочные одеяния, пели, плясали, наслаждались, пытались вторить, каждый по своему разумению, «творцу Коктебеля». Здесь в 26-м году и встретилась я с Константином Федоровичем Богаевским. Среди «разноязычной» толпы, населявшей этот дом (тут были поэты, литераторы, художники, артисты, ученые, люди, ищущие в жизни высших истин и просто наслаждавшиеся ею), — художник Богаевский был лишь мимолетным гостем, но не участником общей жизни.

Сдержанный, молчаливый, Константин Федорович оставлял впечатление человека, всеми чувствами, помыслами, всем существом своим ушедшего в какой-то иной мир, мир, неотделимый от воспеваемой им земли.

Окруженный массой гостей, Волошин, по существу, был глубоко одинок. Он был приветлив ко всем, радушен со всеми, его интересовала жизнь каждого. Но слово «друг» в его устах звучало истиной лишь

---

\* Любовь, которая продолжается более минуты, — выдумка (фр.).

по отношению к Богаевскому: Константин Федорович был близок и дорог Максимилиану Александровичу как человек. Его обращение к нему «Костя» было согрето подлинным человеческим теплом, и приезда Константина Федоровича из Феодосии Максимилиан Александрович ожидал всегда с нетерпением. Как оживал он в эти моменты творческого общения! Да, Константин Федорович был его истинным другом, и у Волошина было к нему чувство большой привязанности.

Беседа Волошина с Богаевским бывала краткой, они понимали друг друга с полуслова. Был ли то Париж, Рим, просторы Караби-Яйлы — то были дни, звучавшие чем-то совершенно иным, чем жизнь «странноприимного» дома.

То были дни, неповторимые никогда и ни с кем, ими совместно пережитый мир, счастье и горечь которого затаил и молча нес в себе каждый.

Перед кончиной Волошина Константин Федорович, уезжавший в Москву, приезжал к нему проститься. И думается мне, в этом последнем взгляде, в последнем пожатии руки вещал им весь совместно пройденный путь. (О своем прощании с Волошиным мне рассказал сам Константин Федорович.)

Максимилиан Александрович в горах и Макс в доме — для меня это были два различных человека. «Дом поэта», «друзья дома» — для меня это было что-то насильственное, какое-то бремя, добровольно взятое на себя Волошиным. Я не берусь обсуждать этот вопрос, но так я чувствовала. Среди этого «многоязычного» населения были ли у Максимилиана Александровича истинные друзья, и нуждался ли он в них? Конечно, да. Первым из них являлся Константин Федорович Богаевский. Мне кажется, что Максимилиан Александрович испытывал большую радость, когда он встречал в другом человеке отзвук своего мировосприятия. Он не был избалован этим. Может быть, в годы парижской жизни [было иначе], но в это время он жил каким-то ему одному присущим миром.

В это лето приехала впервые в Коктебель и Елизавета Сергеевна Кругликова, друг его парижской жизни. Сколько искренней радости было у Максимилиана Александровича при встрече с ней.

День именин Максимилиана Александровича было решено отпраздновать постановкой спектакля «Контора ГГО»<sup>1</sup>. Возглавляла это дело компания Габричевских, но дело как-то не сладилось. Все ходили озабоченные, советовались с Максом. «Вот приедет Лиза», — спокойно повторял он. «Но Елизавете Сергеевне 61 год», — думал каждый из нас. Мы были молоды и сомневались в ней. Но Макс говорил: «Вот приедет Лиза...»

Приехала Елизавета Сергеевна. Веселая, оживленная, она сохраняла в своих действиях легкость и беспечность парижской богемы. И у нас сразу все вышло.

Как-то ночью ей захотелось арбуза. И она предложила мне пойти на базарную площадь, где, закрытая брезентом, лежала куча арбузов. На куче спал татарин. Разбудили его, сказали, что мы из дома Волошина, хотим купить арбуз. Татарин и не шевельнулся. «Бери сколько хочешь, кушай сколько хочешь». Мы вытащили из-под него по арбузу. Вот такие истории приводили Максимилиана Александровича в восторг. Это было в его духе.

Макс и все мы провожали пешком Елизавету Сергеевну по дороге на Узун-Сырт<sup>2</sup>. Максимилиан Александрович с глубокой любовью долго прощался с ней.

Максимилиан Александрович оставлял впечатление человека очень уравновешенного. Но он мог быть гневным и никогда не отступал от своих убеждений. Только раз я видела это. Кто-то из очень скромных людей сказал, что Максимилиан Александрович является представителем русской интеллигенции XIX века. От гнева он даже побагровел: «Никогда и ни в коем случае. Я — *intellectuel*»<sup>3</sup>. Тут в беседу вмешались и другие, и она пошла таким темпом, что я ничего не запомнила, а этот человек совершенно растерялся.

<...>

Максимилиан Александрович придавал большое значение искусству танца как выражению общей художественной культуры народа. В статье «Бельведерский торс» (имеется у Марии Степановны, напечатано на машинке<sup>4</sup>) Максимилиан Александрович пишет: «Римляне лишь смотрели на танцы, греки танцевали сами». И далее он сопоставляет две культуры: римскую «солдатскую» и культуру античного мира. Он ценил телодвижения человека как выражение его ритмического начала. Часто просил меня пройти вперед, а затем идти ему навстречу. Стоял и смотрел. В его восприятии я не шла, а ступала по земле. (Была в селении<sup>5</sup> болгарка — Наташа Кашук. У нее была по-античному поставлена голова. В своем повороте она отвечала положениям головы античных статуй. Мария Степановна рассказывала в 46-м году, что каждый раз как они шли в селение, Макс просил ее: «Маруся, пойдем посмотрим на Наташу».)

Еще ярче Максимилиан Александрович воспринимал движение рук. Их струящийся ритм. Одно из его любимых мест — источник на Святой горе. Вода там холодная, водоем затенен. Здесь он всегда пил, причем отходил от водоема и стоял. Я должна была зачерпнуть воды и в чаше рук поднести ему. Говорил, что это и есть настоящее утоление жажды и из этого движения человека родилась античная чаша. Это неизменно повторялось каждый раз. (А на Кадыкое\* он никогда

---

\* Кадыкой («скала судьбы», *татарск.*) — теснина в скалах близ дороги из Коктебеля в Отузы, с родником.

не пил, и я не танцевала там — темно и тесно.) Облака шли над морем, и я танцевала на склонах всех виноградников, в горах и степи.

Максимилиан Александрович не любил классический танец, формы его казались ему мертвыми. Подлинный танец он видел в творчестве Дункан. А на мое движение, принимавшее Коктебель, смотрел он с какой-то радостью.

О танце мы говорили с ним очень много. [Говорили и о музыке] Максимилиан Александрович порицал Чайковского за написание оперы «Евгений Онегин». Он говорил, что стих Пушкина сам по себе так музыкален, что музыка его лишь портит, считал, что это святотатство. Сценическое искусство как-то вообще мало касалось Максимилиана Александровича<sup>6</sup>.

В пейзажной живописи Максимилиан Александрович ставил на недостижимую высоту художников Японии. Примером всегда приводил «Волну» Хокусаи.

Ближайшие друзья Максимилиана Александровича были католиками, и сам он причислял себя к этой религии<sup>7</sup>. Мир для него был отделен от творца, но творение, «как зеркало», говорил Максимилиан Александрович, отражает природу творца.

Мне кажется, что философской мысли Максимилиана Александровича среди архитектурных образов ближе всего готика, отразившая предельное устремление ввысь человеческого духа.

По возвращении в Ленинград я получила от Максимилиана Александровича фото с надписью:

И огню, плененному землею,  
Золотые крылья развяжу.

<...>

Как-то Максимилиан Александрович спросил, как я создаю свои рисунки. Я ответила, что это хореографические композиции. «Начинаю и перестаю что-либо понимать, пока не кончу». Он сказал, что он так же работает, это совершенно правильно. Выходит это так же, как «вышел из дома и пришел». <...>

У Марии Степановны должен быть плакат, где Макс питается, а все живущие — это различные блюда<sup>8</sup>. Это подарок ко дню его рождения от группы художников. Максимилиан Александрович держит на вилке «плоть». <...> Над головой у него летит какая-то игла, это сушеная корюшка — я.

